

Двадцать четыре часа из жизни женщины

Автор:

[Стефан Цвейг](#)

Двадцать четыре часа из жизни женщины

Стефан Цвейг

Эксклюзивная классика (АСТ)

«Редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с талантом первоклассного художника» – так Максим Горький охарактеризовал творчество Цвейга. В его «новеллах настроения», «новеллах крайних ситуаций» читатель вслед за героями теряет чувство реальности и погружается в мир глубоких душевных переживаний, где чувства обнажены до предела.

Эти истории о роковых встречах и превратностях судеб раскрывают самые сокровенные тайны человеческого сердца, с поразительной яркостью показывая, насколько беззащитны мы перед разрушительной силой страсти.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Стефан Цвейг

Двадцать четыре часа из жизни женщины

© Перевод. М. Рудницкий, 2019

© Перевод. С. Фридлянд, наследники, 2019

© Перевод. В. Топер, наследники, 2019

Шахматная новелла

На океанском лайнере, что в полночь отходил из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, царили суета и смятение последнего часа, какие обыкновенно сопутствуют отплытию. Спеша попрощаться, протискивались через толпу провожающие, мальчишки-телеграфисты в съехавших набекрень фуражках, выкрикивая фамилии адресатов, как угорелые носились по всему кораблю, кому-то несли цветы, кому-то багаж, возбужденная детвора сновала вверх-вниз по лестницам, и только корабельный оркестр на верхней палубе невозмутимо наяривал марш. Чуть поодаль от всей этой суматохи я беседовал с приятелем на прогулочной палубе, когда совсем рядом с нами два-три раза ослепительно полыхнули фотовспышки – должно быть, это в последние минуты перед отплытием репортеры интервьюировали и спешили запечатлеть очередную знаменитость. Приятель мой глянул в ту сторону и улыбнулся.

– Да у вас на борту редкая птица, сам Сентович. – И поскольку я, по всей видимости, скроил недоуменную физиономию, он пояснил: – Мирко Сентович, чемпион мира по шахматам. Он только что всю Америку вдоль и поперек с гастролями объездил, теперь, должно быть, в Аргентину направляется, новые лавры пожинать.

Только услышав имя и фамилию молодого шахматного гения, я припомнил, что конечно же кое-что слышал и о нем самом, и о его удивительной карьере, яркой и неудержимой, точно взлет ракеты. Приятель же мой, куда более истовый любитель газетного чтения, нежели я сам, тут же обогатил мои познания ворохом занятных подробностей. Сентович примерно год назад вошел, нет, ворвался в когорту признанных корифеев шахматного искусства, встав в один ряд с выдающимися гроссмейстерами, такими как Алехин, Капабланка, Тартаковер, Ласкер и Боголюбов. После Нью-Йоркского турнира 1922 года, когда всех поразил семилетний вундеркинд Решевский, ни одно вторжение в шахматный мир новой, прежде совершенно неизвестной звезды, не вызывало столь живого и всеобщего интереса. Дело в том, что интеллектуальный уровень Сентовича, казалось, вовсе не сулил ему столь блестящей карьеры. Уже вскоре просочились слухи, что в обычной жизни сей шахматный принц не в силах без

орфографических ошибок написать ни единого предложения ни на одном языке мира, и, как ядовито пошутил один из его раздосадованных коллег-соперников, «невежество его во всех областях одинаково всеобъемлюще». В богом забытой дунайской деревушке он рос сыном нищего лодочника, чью утлую барку однажды ночью попросту подмяла под себя и потопила баржа с зерном, а после гибели отца двенадцатилетним мальчишкой из милосердия был взят на попечение приходским священником, который, добрая душа, честно старался домашними занятиями наверстать все, что его воспитанник, сонный увалень и твердолобый тупица, не успевал усвоить на уроках.

Однако все его усилия были тщетны. Мирко с неизменным тупым изумлением тарасился на буквы и числа, объясняемые ему в сотый раз, и удержать в памяти даже простейшие азы школьной премудрости его дремлющий разум был просто не в силах. Если возникала надобность что-то сосчитать, он и в четырнадцать лет делал это на пальцах, а прочесть страницу книги или газету для подростка по-прежнему оставалось трудом почти непосильным. При этом назвать Мирко лентяем или упрямым было никак нельзя. Он послушно делал все, что прикажут: таскал воду, колол дрова, работал с крестьянами в поле, убирал кухню и вообще вполне добросовестно, хотя и с раздражающей медлительностью, справлял всякое порученное ему дело. Но более всего добряка-священника огорчала и даже сердила в малахольном подростковом возрасте полнейшая его безучастность. Сам, без посторонней просьбы, он не предпринимал ровным счетом ничего: вопросов не задавал никогда, с другими ребятами не играл и вообще не искал для себя занятий, ежели ему таковые не поручались; закончив дела по хозяйству, Мирко тупо сидел в комнате, уставившись в пространство мутным взглядом овцы на выпасе, и никакого иного участия в событиях окружающей жизни не принимал. И вечерами, покуда священник, попыхивая длинной крестьянской трубкой, играл с жандармским вахмистром три обычные партии в шахматишки, белокрысый парень безмолвно сидел рядом, сонно и, как казалось, безучастно глаза из-под тяжелых век на черно-белые поля шахматной доски.

Однажды зимним вечером, когда давние партнеры только-только углубились в очередную партию, с деревенской улицы послышался тревожный и все быстрее приближающийся перезвон колокольчика на чьих-то санях. Еще через секунду в избу ввалился мужик в запыренной снегом шапке и выпалил с порога, что у него, мол, старуха-мать помирает и пусть уж батюшка поторопится, а то как бы с последним причастием не опоздать. Священник немедля последовал за ним. Жандармский вахмистр, даже не допивший еще свою кружку пива, раскурил напоследок новую трубочку и уже приготовился натягивать свои тяжеленные

высокие сапоги, как вдруг заметил, что Мирко все еще, словно замороженный, смотрит на доску с недоигранной партией.

– Что, может, доиграть охота? – шутки ради спросил вахмистр в твердой уверенности, что этот сонный полудурок ни одного шахматного хода не знает. Парень, однако, боязливо поднял глаза, робко кивнул и сел на место священника. Четырнадцать ходов спустя вахмистр сдался и вдобавок вынужден был признаться себе, что проиграл он отнюдь не из-за какой-то собственной нелепой промашки. Вторая партия завершилась тем же исходом.

– Валаамова ослица! – в радостном изумлении вскричал вернувшийся батюшка, растолковав не слишком-то сведущему в Библии вахмистру, что имеет в виду похожее чудо, случившееся примерно две тысячи лет назад, когда бессловесной твари вот так же ниспослан был дар речи вместе с божественной премудростью[1 - Ветхий Завет, Числа, 22 (21–33). – Здесь и далее примеч. переводчика.]. Невзирая на поздний час, священник тоже не удержался от соблазна вызвать на шахматный поединок своего неуча-питомца. Мирко и его разгромил без малейших затруднений. Играл он неспешно, целеустремленно и совершенно невозмутимо, ни разу не оторвав от доски низко склоненную, набыченную голову. Играл с поразительной уверенностью: в последующие дни ни вахмистру, ни священнику так и не удалось выиграть у него ни одной партии. Батюшку, лучше других способного судить об отсталости своего воспитанника по всем прочим предметам, всерьез разбирало любопытство: как далеко может развиваться, какие испытания способно выдержать столь странное однобокое дарование? Для начала решив придать своему оболтусу хоть сколько-нибудь приличный вид, он отвел Мирко к деревенскому цирюльнику и велел обкорнать белобрысые патлы, после чего, усадив парня в сани, повез в соседний городишко, где в кафе на главной площади собирались завзятые шахматисты, тягаться с которыми, уж он-то хорошо знал это по опыту, ему лично было не по плечу. Появление священника с пятнадцатилетним подростком, белобрысым краснощекимым увальнем в потертом, овчиною внутрь, тулупе и тяжелых сапожищах, не вызвало в кругу завсегдатаев ни малейшего интереса, благо, тот, потупив глаза, боязливо остался стоять в углу, покуда его не подозвали к доске. Первую партию Мирко проиграл, поскольку понятия не имел о сицилианской защите: батюшка, святая простота, такого дебюта отродясь не знал. Однако вторую партию, причем против сильнейшего игрока, он уже свел вничью. А начиная с третьей, он бил всех подряд, одного за другим, без разбору.

В захолустном балканском городишке крайне редко происходит нечто из ряда вон выходящее, так что триумфальный дебют лапотного чемпиона незамедлительно стал для местной элиты настоящей сенсацией. Единодушно было решено, что сельский вундеркинд непременно должен остаться в городе до завтра, дабы созвать и остальных членов шахматного клуба, а прежде всего оповестить престарелого графа Симшича, истинного фанатика древней игры, обитавшего неподалеку в родовом замке. Священник, сияя от гордости за своего питомца, однако не забывая за новоявленными триумфами о всегдашнем долге воскресной обедни, согласился оставить Мирко в городе для новых испытаний. Юного Сентовича за счет шахматного клуба определили на ночлег в гостиницу, где он в тот вечер впервые в жизни узрел ватерклозет. На следующий день после обеда шахматная зала была забита битком. Мирко, четыре часа подряд не вставая от доски, не говоря ни слова и даже не поднимая на соперников глаз, одолел их всех, одного за другим. Под конец ему предложили сеанс одновременной игры. Тут, впрочем, понадобилось некоторое время, дабы растолковать самородку смысл предложения: дескать, ему придется в одиночку играть одновременно против нескольких противников. Однако едва Мирко сообразил, что от него требуется, он быстро освоился с новой ролью и, неторопливо прохаживаясь в своих тяжелых, скрипучих сапогах от столика к столику, выиграл в итоге семь партий из восьми.

После чего и состоялся всеобщий шахматный совет. Хотя в строгом смысле новый чемпион не являлся жителем городка, местный патриотизм разгорелся не на шутку. Как знать, быть может, их маленький городишко, о самом существовании коего на географической карте прежде мало кто догадывался, впервые удостоивается чести подарить миру настоящую знаменитость. Мелкий торговый агент по фамилии Колер, именовавший себя, впрочем, импресарио и обеспечивавший прежде ангажементом разве что шансонеток да певичек для местного гарнизонного кабаре, изъявил готовность, ежели будет собрана надлежащая сумма, на год определить юное дарование в Вену, где его по всем правилам обучит искусству древней игры некий не слишком известный, но якобы очень сильный шахматный мастер. Граф Симшич, которому за все шестьдесят лет каждодневных шахматных баталий не доводилось встречаться со столь самобытным противником, выписал чек немедленно. С этого дня и началась удивительная карьера сына простого дунайского лодочника.

Через полгода Мирко овладел всеми секретами шахматной техники, за одним, правда, исключением, которое впоследствии неоднократно подмечалось и даже высмеивалось в шахматных кругах. Он так никогда и не научился играть по памяти, без доски, или, как говорят шахматисты, «вслепую». Иначе говоря, он

был начисто лишен способности представить шахматную доску в безграничном пространстве человеческой фантазии. Шестьдесят четыре квадрата черных и белых полей ему всегда нужно было видеть наяву, тридцать две шахматных фигуры постоянно иметь, что называется, под рукой; даже в пору своей всемирной славы он неизменно и повсюду таскал с собою портативные карманные шахматы, чтобы, если понадобится разобрать знаменитую партию или проанализировать позицию, можно было наглядно воспроизвести их на доске. Этот изъян, сам по себе не столь уж значительный, свидетельствовал, однако, о недостающей силе воображения, а потому обсуждался в кругах специалистов с такой же заинтересованностью, как если бы знаменитый музыкант, виртуоз-исполнитель или дирижер, обнаружил неспособность играть или дирижировать, не имея перед глазами раскрытой партитуры. Впрочем, странность эта несколько не помешала Мирко в его поразительном восхождении. К семнадцати годам он уже выиграл с дюжину турниров, в восемнадцать стал чемпионом Венгрии, а в двадцать завоевал и звание чемпиона мира. Испытаннейшие турнирные бойцы, истинные шахматные корифеи, каждый из которых безмерно превосходил его и творческой одаренностью, и силой ума, и дерзостью фантазии, оказывались бессильны перед бульдожьей хваткой его холодной, неумолимой логики и проигрывали ему, как Наполеон – неповоротливому тугодуму Кутузову, а Ганнибал – Фабию Кунктатору[2 - Фабий Максим Кунктатор, Квинт (ум. 203 г. до н. э.), римский полководец и государственный деятель, особо прославился победами над Ганнибалом, в войне против которого избрал тактику осторожного преследования, за что и снискал прозвище Кунктатор (Медлитель).], чья флегматичность, по свидетельству Ливия, граничила со слабоумием и бросалась в глаза с раннего детства. Вот так и вышло, что в блистательную когорту шахматных гроссмейстеров, объединившую в своих рядах самые разнообразные примеры совершенства человеческого разума – философскую глубину и математический расчет, богатство фантазии и творческую интуицию, – в этот интеллектуальный заповедник впервые ворвался, можно сказать, абсолютный варвар, нелюдимый и косноязычный деревенский олух, добиться от которого хоть пары связных, сколько-нибудь пригодных для публикации слов не могли даже самые отпетые журналистские писаки. Впрочем, обделив газеты возможностью печатать от его имени гладкие, безупречно отшлифованные сентенции, новоявленный чемпион с лихвой вознаграждал их за это множеством курьезов и анекдотов из собственной жизни. Ибо как только Сентович вставал из-за шахматной доски, где ему действительно не было равных, он в ту же секунду превращался в гротескный персонаж, едва ли не в посмешище, ибо, невзирая на шикарный черный костюм, на роскошный галстук с чересчур крупной булавкой-жемчужиной, на ухоженные маникюром пальцы, он во всех

своих манерах и повадках оставался прежним деревенским увальнем, еще недавно подметавшим полы в убогой горнице приходского священника. С неуклюжей мужицкой прямоотой, с поистине бесстыдной, мелочной, а то и просто пугающей жадностью он, к досаде и на потеху всей шахматной братии, принялся выколачивать из своего таланта и оглушительной славы деньги – везде и сколько можно. Он колесил по городам и весям, неизменно останавливаясь только в дешевых гостиницах, соглашался давать сеансы даже в самых паршивых клубах, лишь бы платили гонорар, продал свое фото для рекламы мыла и, презрев издевки соперников, прекрасно знавших, что он и трех фраз связно написать не в состоянии, без раздумий позволил выпустить под своим именем книгу «Философия шахмат», которую по заказу одного ретивого издателя накропал за него безвестный галицийский студентик. Как и все твердолобые натуры, он был напрочь лишен чувства юмора; став чемпионом мира, он решил, что он теперь и вправду пуп земли – сознание того, что он обыграл всех этих «культурненьких» умников и говорунов, писак и грамотеев на их же поле, а прежде всего тот неоспоримый факт, что он больше их зарабатывает, превратили прежнюю его неуверенность в холодную и, как правило, беззастенчиво выставляемую напоказ надменность.

– Да и как столь скоропалительной славе не вскружить столь пустую голову? – заключил мой приятель, приведя напоследок несколько красноречивых примеров поистине мальчишеской заносчивости Сентовича. – Как деревенскому парню из балканской глубинки не сойти с ума от мании величия, если он, всего лишь передвигая какие-то фишки на деревянной доске, за неделю получает денег больше, чем вся его родная деревня зарабатывает за год, убиваясь на лесоповале или изнуряя себя в поле? А потом, это ведь чертовски легко – возомнить себя великим человеком, если ум твой не отягощен даже тенью подозрения, что до тебя на свете жили Рембрандт и Бетховен, Данте и Наполеон. Этот парень своей убогой мужицкой смекалкой постиг только одно: вот уже много месяцев подряд он не проиграл ни единой партии, а поскольку он понятия не имеет, что на земле помимо шахмат и денег, существуют еще какие-то ценности, у него есть все основания пребывать в полном восторге от собственной персоны.

Рассказы приятеля не преминули пробудить во мне совершенно особое любопытство. Люди, одержимые, словно манией, какой-то одной идеей, необъяснимо притягивали меня всю жизнь, ибо чем больше человек себя ограничивает, тем выше он из этой своей ограниченности поднимается к бесконечному; как раз подобные, на первый взгляд начисто отрешенные от мира индивидуумы, подобно термитам, строят из особой материи своего духа

поразительные и поистине уникальные модели мироздания. Вот почему я не стал делать тайны из своего намерения во время двенадцатидневного плавания до Рио посвятить себя пристальному наблюдению за столь ярким феноменом человеческой односторонности.

Приятель, однако, поспешил охладить мой пыл.

– С ним вам не слишком-то повезет, – предупредил он меня. – Сколько я знаю, еще никому не удалось извлечь из Сентовича хоть крупицу материала, достойную интереса психолога. При всей своей бездонной ограниченности этот ушлый крестьянин накрепко усвоил одну великую мудрость: никому не показывать свои слабости. А добивается он этого весьма простым способом: ни с кем, кроме земляков-крестьян, людей своего круга, с которыми он встречается в деревенских корчмах, он ни в какие разговоры не вступает. Стоит ему учуять в собеседнике культурного человека, как он, словно улитка, прячется в свою раковину; зато никто не может похвастаться, что имел возможность лично измерить якобы бездонные глубины его невежества или своими ушами слышал, как Сентович сморозил глупость.

Похоже, приятель мой и в самом деле знал, что говорит. В первые дни путешествия всякая попытка приблизиться к Сентовичу, не проявляя откровенно грубой назойливости – качества, признаюсь, вообще-то мне не свойственного, – оказалась делом совершенно невозможным. Он, правда, иногда появлялся на прогулочной палубе, но неизменно расхаживал по ней в одиночку, заложив руки за спину и всем видом выказывая крайнюю сосредоточенность и гордую неприступность, совсем как Наполеон на известной картине; к тому же само это передвижение – всегда по периметру палубы, широким и резким шагом – совершалось с такой стремительностью, что всякому, кто вздумал бы заговорить с Сентовичем в такие минуты, волей-неволей пришлось бы семенить рядом с ним рысцой. В местах же общественных – в баре, в курительной комнате – он не показывался никогда; как сообщил мне стюард, у которого я доверительно навел справки, большую часть дня Сентович проводил у себя в каюте, разучивая на огромной шахматной доске сыгранные партии или разбирая особо сложные позиции.

Дня через три меня и вправду стало не на шутку злить, что его сугубо оборонительная тактика явно превосходит мой наступательный порыв как-то свести с ним знакомство. А мне за всю жизнь так ни разу и не выпадала удача лично знать кого-то из шахматных гроссмейстеров, и чем больше старался я

сейчас вообразить себе, что это вообще за люди, тем все менее правдоподобной представлялась мне умственная деятельность, сосредоточенная на протяжении всей жизни исключительно вокруг квадрата пространства в шестьдесят четыре черно-белых поля. Я, впрочем, по собственному опыту знал о великой магии этой «королевской игры», единственной из игр, изобретенных человечеством, которая не подчиняет себя диктату случая, отдавая пальму первенства исключительно превосходству ума, а вернее, совершенно определенной форме некой умственной одаренности. Впрочем, не оскорбительно ли для шахмат уже само это, заведомо узкое определение в разряд игр? Разве шахматы вместе с тем не наука, не искусство, разве не парят они между тремя этими стихиями, словно гроб Магомета между небом и землей, образуя уникальное единство всех мыслимых и немыслимых противоположностей; древние и вечно юные, механические в способе применения, но движимые исключительно силою фантазии, ограниченные строгой геометрией пространства и при этом совершенно безграничные числом и разнообразием комбинаций, постоянно пребывающие в развитии, но стерильно неизменные в правилах, это мышление без обязательности выводов, математика без корысти расчетов, искусство без непреложности творений, архитектура без материи строительства, и тем не менее, как это очевидно и неоспоримо доказывается их историей и современностью, – они в своем бытии и бытовании долговечнее книг и шедевров, это единственная игра, ставшая достоянием всех времен и народов, и никому неведомо имя божества, что подарило ее людям, дабы избавлять их от скуки, шлифуя остроту их ума и поддерживая силу их духа. Где начала ее и где концы? Любому ребенку доступно запомнить первые ее ходы, всякий тупица может попробовать в ней свои силы, однако на ограниченном пространстве этого небольшого, клетками расчерченного квадрата выявляются таланты и мастерство совершенно особого рода, предстают миру люди сугубо специфической, шахматной одаренности, своеобразные гении творческой интуиции, терпеливого расчета и виртуозной техники, счастливо и действительно сочетающие в себе эти редкостные качества, подобно тому, как сочетают их в себе, только в иных пропорциях, конstellляциях и взаимосвязях, выдающиеся математики, музыканты, поэты. В прежние времена повального увлечения физиогномистикой какой-нибудь Галль[3 - Галль, Франц-Йозеф (1758-1828) – немецкий врач и естествоиспытатель, занимавшийся изучением взаимосвязей между характером, способностями и наклонностями человека – и особенностями строения его черепа.] с превеликой радостью подверг бы вскрытию мозг любого шахматного гения с целью отыскать в сером веществе его мозга совершенно особую извилину, нечто вроде «шахматного мускула» или «шахматного бугра», выраженного интенсивнее, чем в мозгу прочих смертных. И уж тем более многообещающей виделась бы ему подобная операция в случае с Сентовичем, в

чьей голове специфический шахматный дар, похоже, был вкраплен в абсолютную интеллектуальную целину, как золотиносная жила, что искристой молнией прорезает каменную твердь пустой породы. Вообще-то мне и так давно было ясно, что игра столь своеобразная и гениальная конечно же должна рождать и совершенно неповторимых исполнителей, однако насколько же сложно, почти невозможно представить себе жизнь вот такого деятеля умственного труда, для которого весь свет сошелся клином на бесконечной дорожке черно-белых полей, все счастья и несчастья зависят от перемещений туда-сюда тридцати двух фигур, человека, для которого изобретение дебютной новинки – какой-нибудь ход конем вместо пешки – уже означает великое свершение и свой уголок бессмертия в мелких строчках шахматного справочника, человека, причем человека мыслящего, который способен, не впадая от этого в безумие, двадцать, тридцать, сорок лет подряд употреблять все силы и ухищрения своего разума на достижение одной-единственной смехотворной цели – заматовать деревянного короля в углу деревянной доски!

И вот такой феномен, то ли непостижимый гений, то ли гениальный болван, впервые в жизни оказался в земном пространстве совсем рядом со мной, на одном корабле, всего в шестой от меня каюте, а я, горемыка несчастный, для кого любопытство к тайнам духовного мира давно переросло в нездоровую страсть, оказывается, не способен даже свести с ним знакомство! Я уже начал изобретать самые нелепые ухищрения: сыграть, допустим, на его тщеславии, прикинувшись корреспондентом важной газеты и попросив об интервью, или пробудить его жадность, пригласив на весьма выгодный турнир в Шотландии, организатором которого я будто бы являюсь. Но в конце концов я вспомнил, что самая надежная уловка охотников – это приманить глухаря, подражая его токованию; что вернее привлечет гроссмейстера, как не игра в шахматы?

Беда в том, что сам я серьезным игроком отродясь не был, причем по одной простой причине: я предпочитаю «баловаться» шахматами ради собственного удовольствия; если и сажусь на часик за доску, то отнюдь не ради концентрации всех умственных сил, а наоборот, чтобы развеяться и снять умственное напряжение. Я «играю» в шахматы в самом буквальном смысле этого слова, в то время как другие, настоящие игроки за доской воистину священнодействуют, если позволительно употребить такой образ. К тому же в шахматах, как и в любви, необходим партнер, а я пока что понятия не имел, сыщутся ли на борту другие любители шахмат. Дабы оных приманить, я, как птицелов, подстроил в курительном салоне весьма примитивную ловушку, а именно: уселся за шахматный столик вместе с женой, хотя она играет еще слабее меня. И в самом деле: не успели мы сделать и шести ходов, как один из пассажиров возле нас

приостановился, а еще через минуту другой попросил разрешения последить за игрой; в конце концов объявился и желанный партнер, предложивший мне сыграть с ним партию. Им оказался некто Мак-Коннер, шотландский горный инженер, сколотивший, как я мельком слышал, солидное состояние на бурении нефтяных скважин в Калифорнии, господин весьма крепкого сложения, с массивным, чуть ли не квадратным подбородком, крепкими зубами и сытым цветом лица, чрезмерный румянец которого, по крайней мере в некоторых физиономических чертах, свидетельствовал о несомненном пристрастии к виски. Могучие плечи и атлетическая осанка, к сожалению, явственным образом сказывались и на его повадках шахматиста, выдавая в мистере Мак-Коннере тот сорт самоуверенных, нахрапистых и успешных дельцов, для кого поражение пусть даже в самой пустячной игре означает чувствительный удар по самолюбию. Привыкший идти по жизни напролом и весьма избалованный на этом пути успехами, которых он действительно добивался своими силами, этот здоровяк был настолько несокрушимо убежден в собственном превосходстве, что всякое внешнее противодействие этой своей убежденности воспринимал как строптивное неприличие и чуть ли не как оскорбление. Проиграв первую партию, он заметно помрачнел и обстоятельно, менторским тоном принялся растолковывать мне, что это недоразумение – всего лишь следствие случайной промашки; поражение в третьей он списал на шум в соседней зале и, как вскоре выяснилось, вообще не мог смириться ни с каким проигрышем, всякий раз требуя немедленного реванша. Поначалу столь ранимое и ожесточенное тщеславие соперника слегка меня забавляло и озадачивало, но в конце концов я стал относиться к нему как к неизбежной издержке собственного замысла во что бы то ни стало подманить к нашему столику чемпиона мира.

На третий день затея моя наконец-то удалась, но удалась, увы, лишь наполовину. То ли Сентович, прогуливаясь по палубе, случайно увидел нас за шахматным столиком в окно каюты, то ли он просто, повинувшись мгновенной прихоти, решил почтить своим присутствием курительный салон – как бы там ни было, но, едва заметив нас, непосвященных дилетантов, азартно предающихся его искусству, он невольно сделал шаг в нашу сторону и с этой весьма отдаленной дистанции бросил на доску всего лишь один пронизательный взгляд. Ход был как раз за Мак-Коннером. И, похоже, одного этого хода ему, Сентовичу, оказалось более чем достаточно, чтобы уяснить, сколь мало заслуживают наши дилетантские потуги его чемпионского внимания. С тем же непередаваемо пренебрежительным жестом, с каким наш брат откладывает в сторону предложенный продавцом бульварный детектив, даже не удосуживаясь перелистать книжонку, он отошел от нашего столика и немедленно покинул курительную залу. «Глянул и не удостоил», – подумал я, слегка

раздосадованный этим холодным, презрительным взглядом, и, чтобы как-то выместить раздражение, решил поддеть Мак-Коннера:

– Судя по всему, чемпиона ваш ход не особенно впечатлил.

– Какого чемпиона?

Я объяснил, что господин, только что удостоивший пренебрежительным взглядом нашу партию, не кто иной, как чемпион мира Сентович. Что ж, добавил я, презрение знаменитости, полагаю, мы оба как-нибудь переживем, в конце концов, сытый голодного не понимает, а гусь свинье не товарищ. Однако, к моему удивлению, мое вскользь брошенное замечание произвело на Мак-Коннера действие совершенно неожиданное. Он чрезвычайно взволновался, тотчас забыл о нашей партии, и я буквально услышал, как неуголенное тщеславие закипает у него в груди. Он, оказывается, и понятия не имел, что вместе с нами на борту сам Сентович, и уж с ним-то он непременно должен сразиться. Против чемпиона мира он в жизни не играл, если не считать партии в сеансе одновременной игры на сорока досках; но даже и та партия была совершенно незабываема, он ее почти выиграл. Знаком ли я с чемпионом лично? Нет, не знаком. Не могу ли я заговорить с ним и пригласить к нашему столику? Я ответил вежливым отказом, сославшись на то, что Сентович, сколько мне известно, не слишком-то расположен заводить новые знакомства. А кроме того, какой интерес ему, чемпиону мира, тратить время на каких-то третьеразрядных игроков?

Насчет третьеразрядных игроков – этого, пожалуй, учитывая обостренное самолюбие Мак-Коннера, мне говорить не стоило. Неприязненно откинувшись на спинку стула, он с неожиданной резкостью возразил, что со своей стороны решительно отказывается верить, будто Сентович способен отклонить вежливый джентльменский вызов, уж об этом-то он позаботится. Он попросил меня вкратце описать внешние приметы чемпиона и секунду спустя, сгорая от нетерпения и в мгновение ока позабыв о нашей недоигранной партии, ринулся на прогулочную палубу. Я снова отметил про себя, что обладателя столь могучих плеч, если уж он направил свою волю на какое-то дело, остановить ничто не способно.

Не без интереса ждал я его возвращения. Он вернулся минут через десять, и вид у него, как мне показалось, был не слишком веселый.

- Ну как? - поинтересовался я.

- Вы были правы, - ответил он с некоторой досадой. - Не слишком-то приятный господин. Я ему представился, рассказал, кто я и чем занимаюсь. Он даже руки мне не подал. Я попытался объяснить ему, какая честь была бы для всех нас, пассажиров, если он согласится дать сеанс одновременной игры на борту корабля. Но он с прежней надменностью ответил мне, что, к сожалению, у него твердые контрактные обязательства перед агентом, в соответствии с которыми он на протяжении всего турне не имеет права играть без гонорара. А минимальная его ставка - двести пятьдесят долларов за партию.

Я рассмеялся.

- Вот уж никогда бы не подумал, что перемещение фигур с белых полей на черные можно превратить в столь доходный промысел. Что ж, полагаю, вы столь же любезно откланялись.

Но Мак-Коннер был совершенно не расположен шутить.

- Партия назначена на завтра, на три часа пополудни. Здесь, в курительном салоне. Надеюсь, мы не позволим разгромить себя, как мальчишек.

- Как? Вы согласились заплатить ему двести пятьдесят долларов? - вскричал я вне себя от изумления.

- А почему нет? C'est son metier[4 - Это его работа (фр.)]. Если бы у меня разболелся зуб, а на борту оказался зубной врач, мне бы и в голову не пришло требовать, чтобы тот лечил меня бесплатно. Этот господин совершенно прав, запрашивая за свои услуги солидную цену: настоящий мастер своего дела - он всегда и коммерсант превосходный. А что до меня, чем яснее сделка, тем лучше. Я предпочту выложить наличные, чем позволять какому-то господину Сентовичу делать мне одолжение, за которое мне потом еще в благодарностях перед ним рассыпаться. В конце концов, у себя в клубе мне случалось за вечер и побольше двух с половиной сотен просадить, причем вовсе не чемпиону мира. Самому Сентовичу продуть - это не позор, а уж для третьеразрядного игрока и подавно.

Втайне меня позабавило, что самолюбие Мак-Коннера все еще до такой степени задето моим безобидным, в сущности, замечанием насчет «третьеразрядных

игроков». Но поскольку за собственное удовольствие он готов был платить немалую цену, я ничего против его уязвленного тщеславия не имел, тем паче что благодаря этому наконец-то получал возможность познакомиться с интересующим меня субъектом. Мы в спешном порядке оповестили о предстоящем событии еще человек пять-шесть, успевших заявить о своем пристрастии к шахматам, и, во избежание помех со стороны остальных праздно прогуливающих пассажиров, зарезервировали на время матча не только наш столик, но и несколько соседних.

На следующий день к назначенному часу вся наша компания в полном составе была в сборе. Центральное кресло напротив чемпиона было, разумеется, предоставлено Мак-Коннеру, который тщетно пытался совладать с нервами, раскуривая одну толстенную сигару за другой и беспокойно поглядывая на часы. Однако чемпион мира – я после рассказов приятеля что-то в этом роде даже предчувствовал – заставил себя ждать добрых десять минут, обеспечив тем самым еще больший эффект своему появлению. Он вошел как ни в чем не бывало и с невозмутимым видом направился к нашему столику. Не представляясь – вы, мол, и так знаете, кто я, а кто вы такие, меня совершенно не интересует, – он сухим тоном принялся отдавать деловые распоряжения. Поскольку организовать на борту сеанс одновременной игры ввиду отсутствия нужного количества шахматных досок не представляется возможным, он предлагает нам играть против него одного всем вместе. После каждого хода он, чтобы не мешать нам совещаться, будет удаляться к своему столику в другой конец зала. Мы же, сделав ход, за отсутствием, к сожалению, настольного колокольчика будем просто стучать по стакану ложечкой. На каждый ход он предлагает, если с нашей стороны не будет возражений, отвести не более десяти минут. Мы, словно робкие школяры, разумеется, согласились со всеми его условиями. При выборе цвета Сентовичу достались черные; даже не присаживаясь, он сделал первый ответный ход и незамедлительно направился к отведенному для себя месту, где, вальяжно устроившись в кресле, принялся листать иллюстрированный журнал.

Вряд ли имеет смысл описывать ход этой партии. Она завершилась, как и должна была завершиться – полным нашим поражением, причем уже на двадцать четвертом ходу. В том, что чемпион мира одной левой стирает в порошок полдюжины средних, если не плохоньких дилетантов, вообще-то ничего удивительного не было; чрезвычайно обидной показалась сама манера, в которой Сентович более чем ясно дал нам почувствовать, что разделяется с нами именно одной левой. Перед каждым ходом, бросив лишь один нарочито скучливый взгляд на доску, он с откровенным пренебрежением смотрел куда-то

мимо нас, словно мы для него – всего лишь деревянные болванчики, еще менее достойные внимания, чем шахматные фигуры: во всей его повадке сквозила смесь хамства и невольной брезгливости – вот так же, не глядя, швыряют корку хлеба шелудивому псу. Обладай он хоть толикой душевной деликатности, он мог бы, думалось мне, тактично указать нам на какую-то нашу ошибку или просто ободрить дружеским словом. Но и после окончания партии этот бездушный шахматный автомат не издал ни звука, он неподвижно замер возле столика, словно прислушиваясь к эху только что произнесенного слова «мат» и выжидая, не предложат ли ему сыграть вторую партию. С чувством беспомощности, какое всегда испытываешь, нарвавшись на беспардонную грубость, я уже встал, намереваясь жестом дать понять, что завершением оговоренной долларовой сделки удовольствие нашего знакомства, по крайней мере с моей стороны, вполне исчерпано, как вдруг, к немалой моей досаде, стоявший подле меня Мак-Коннер осипшим от волнения голосом выдавил:

– Реванш!

Меня прямо-таки напугал вызывающий тон, каким это было сказано; и в самом деле, Мак-Коннер в это мгновение гораздо больше напоминал боксера, готового кинуться на соперника с кулаками, нежели учтивого джентльмена. Неприятное ли обхождение, с каким столь явно отнесся к нам Сентович, было тому причиной или просто патологически неуемное самолюбие – как бы там ни было, но весь облик Мак-Коннера преобразился неузнаваемо. Он явно вспотел, он побагровел до корней волос, он сопел раздувшимися от волнения ноздрями, а глубокая бороздка, проступившая вдруг под прикушенной нижней губой, угрюмо подчеркивала стенобитную мощь грозно выставленного подбородка. Не без тревоги заметил я в его глазах мерцание необузданной страсти, какая охватывает, пожалуй, только игроков в рулетку, когда ставки удваивались уже раз шесть или семь, а нужный цвет все никак не выпадает. И тогда я понял: этот одержимый честолюбец готов рискнуть всем своим состоянием, но он будет играть против Сентовича снова и снова, хоть по простой, хоть по удвоенной ставке, до тех пор, пока не выиграет хотя бы одну партию. И если у Сентовича хватит терпения, он в лице Мак-Коннера, считай, что уже обрел золотое дно и тысячами может хапать с этого дна свои доллары хоть до самого Буэнос-Айреса.

Сентович между тем даже бровью не повел.

– Извольте, – проронил он учтиво. – Господа теперь играют черными.

И вторая партия мало чем отличалась от первой, разве что кружок наш не только пополнился несколькими любопытствующими, но и вести себя стал непринужденней. Мак-Коннер не сводил глаз с доски, словно вознамерившись загипнотизировать шахматные фигуры своей волей к победе; я нутром чувствовал – он сейчас, не задумываясь, готов и тысячу долларов выложить, лишь бы бросить ликующий клич «Мат!» прямо в надменную физиономию противника. Каким-то непостижимым образом это его ожесточенное возбуждение отчасти невольно передалось и нам. Теперь каждый новый ход обсуждался несравненно более страстно, и в самый последний миг мы все чаще удерживали друг друга, прежде чем сойтись, наконец, в своем решении и подать Сентовичу сигнал, подзывавший того к нашему столику. Сами того не заметив, мы продержались уже до семнадцатого хода и тут с изумлением обнаружили, что возникшая на доске позиция выглядит для нас ошеломляюще выгодной: пешку по линии «с» нам удалось каким-то образом продвинуть до предпоследней горизонтали, и следующим же ходом на поле с1 она превращалась во второго ферзя. Не сказать, чтобы мы возрадовались при виде столь явного, столь очевидно выигрышного шанса, наоборот, мы единодушно заподозрили в этом якобы добытом нами преимуществе скрытый подвох – не иначе Сентович, не в пример нам видевший позицию на много ходов вперед, умышленно заманивал нас в эту ловушку. Однако, невзирая на все отчаянные совместные раздумья и ожесточенные споры, разгадать смысл его маневра мы не могли. Наконец, уже на исходе отведенного времени, мы все же решили рискнуть. Мак-Коннер уже взялся за пешку, чтобы передвинуть ее на последнюю горизонталь, как вдруг кто-то схватил его за руку, и он услышал над ухом взволнованный шепот:

– Ради бога! Только не это!

Все мы невольно обернулись. Господин лет сорока пяти, чье узкое, изможденное лицо уже и прежде бросалось мне в глаза на прогулочной палубе, запомнившись заостренными чертами и крайней, почти мертвенной бледностью, очевидно, подошел к нашему кружку совсем недавно, чего мы, углубившись в обсуждение злополучного хода, даже не заметили. Почувствовав на себе наши недоуменные взгляды, он быстрым шепотом принялся объяснять:

– Если вы сейчас проведете ферзя, он побьет его слоном на с1. И хотя вы возьмете слона конем, он тем временем продвинет пешку на d7 с одновременным нападением на ладью, и даже если вы объявите конем шах, вы все равно неминуемо проиграете, ходов через девять-десять. В 1922 году на

гроссмейстерском турнире в Пиштиане[5 - Современное название словацкого курорта Пиштаны.] Алехин заманил Боголюбова почти в такую же позиционную ловушку.

Мак-Коннер оторопело оторвал пальцы от пешки и с не меньшим изумлением, чем все мы, воззрился на этого ангела спасения, ниспосланного нам в последнюю секунду. Человек, способный предвидеть мат за девять ходов, был, несомненно, шахматистом первого ранга, вероятно, даже конкурентом Сентовича в борьбе за чемпионское звание, и ехал, возможно, на тот же самый турнир, а в его внезапном появлении и столь же поразительном вмешательстве в самый критический миг поистине было что-то почти сверхъестественное. Первым опомнился Мак-Коннер.

- Так что же вы нам посоветуете? - взволнованно прошептал он.

- Ферзя проводить не сразу, сперва защититься. Прежде всего спрятать короля с опасной восьмой горизонтали на поле h7. Тогда, вероятно, ваш противник перенесет атаку на другой фланг. Но вы парируете этот выпад ходом ладьи с c8 на c4. На этом он потеряет два темпа, пешку и все свое преимущество. Против его проходной у вас останется своя проходная, и если будете правильно защищаться, добьетесь ничьей. Большого из этой позиции все равно не выжать.

Мы оторопели пуще прежнего. Точность и быстрота его расчетов просто ошеломили нас: он как будто читал все эти ходы по книге. Как бы там ни было, забрезжившая благодаря его вмешательству надежда нечаянно-негаданно свести вничью партию против самого чемпиона мира казалась сном наяву. Как по команде, мы все посторонились, чтобы он мог лучше видеть доску. Мак-Коннер снова спросил:

- Так что же - король g8 на h7?

- Конечно! Сперва защититься!

Мак-Коннер послушно передвинул короля, и мы звякнули ложечкой. С обычной своей вальяжной ленцой Сентович приблизился к нашему столику, одним беглым взглядом оценив сделанный нами ход. После чего двинул вперед пешку королевского фланга с h2 на h4, в точности, как и предсказывал наш неожиданный помощник. А тот уже возбужденно шептал:

– Ладью вперед, с8 на с4, ему тогда придется защищать пешку. Но ему это не поможет! Потому что вы, не обращая внимания на его проходную, побьете конем с3 на d5 и восстановите материальное равенство. А уж потом вперед, лучшая оборона – это атака!

Мы не понимали, что он говорит. Для нас это была китайская грамота. Впрочем, однажды ему доверившись, Мак-Коннер, уже не раздумывая, пошел как сказано. Мы снова звякнули ложечкой по стакану, подзывая Сентовича. Тот впервые принял решение не сразу, а задумался, напряженно глядя на доску. Потом сделал в точности тот самый ход, который и предсказывал незнакомец, и повернулся, собираясь направиться к своему креслу. И тут произошло нечто новое и совершенно неожиданное: прежде чем двинуться с места, он поднял глаза и пристальным взглядом обвел всю нашу компанию. Очевидно, хотел выяснить, кому именно он обязан столь внезапным и энергичным сопротивлением.

Начиная с этой минуты, волнение наше возросло безмерно. Если прежде мы играли без сколько-нибудь серьезной веры в успех, то теперь надежда сломить холодное чемпионское высокомерие Сентовича обдала нас жаром азарта, заставляя гулко биться наши сердца. Но друг наш уже подсказал следующий ход, и мы снова – у меня явственно дрожали пальцы, когда я поднес ложечку к стакану, – вызвали Сентовича к доске. Он подошел, и тут наступил наш первый триумф. Сентович, который до этого делал каждый ход стоя, подумал-подумал и вдруг присел. Он опускался в кресло медленно и как-то неуклюже, и, едва он сел, прежняя диспозиция, позволявшая ему смотреть на нас сверху вниз, хотя бы чисто физически переменялась. Итак, мы вынудили его хотя бы внешне опуститься с нами на один уровень. На сей раз он задумался надолго, устремив неподвижный взгляд на доску; зрачки под приспущенными веками замерли и, казалось, вовсе исчезли, от напряженного раздумья у него даже слегка приоткрылся рот, придавая округлой физиономии неожиданно простецкое выражение. Сентович размышлял несколько минут, потом сделал ход и встал. А наш друг уже зашептал снова:

– Отвлекающий маневр! Ловко придумано! Но мы на это не поддадимся! Надо форсировать размен, только размен, тогда ничья гарантирована, и никакой бог ему не поможет!

Мак-Коннер подчинился. Следующими ходами противники – мы, все остальные, давно уже превратились в безропотных статистов – производили совершенно непонятные для нас маневры. Ходов через семь Сентович после долгого раздумья поднял глаза и произнес:

– Ничья?

На секунду воцарилась мертвая тишина. Мы вдруг услышали плеск волн за бортом и джазовую музыку по радио из соседнего салона, каждый шаг пассажиров на прогулочной палубе и даже тихий, тоненький посвист ветра в зазорах оконной рамы. Мы боялись пошелохнуться, даже вздохнуть, мы были почти напуганы невероятьем только что случившегося: какой-то незнакомец сумел навязать свою волю чемпиону мира, переломив ход практически проигранной партии. Наконец Мак-Коннер резким движением откинулся в кресле, испустил долго сдерживаемый вздох, вместе с которым с губ его сорвалось ликующее: «Ага!» Я снова перевел взгляд на Сентовича. Мне показалось, что на завершающей стадии партии он слегка побледнел. Но теперь он снова уже вполне овладел собой. Сохраняя полную невозмутимость, он небрежным движением сдвинул с доски оставшиеся фигуры и все тем же равнодушным голосом спросил:

– Желают ли господа сыграть третью партию?

Вопрос был задан спокойно, подчеркнута деловым тоном. Но вот что странно: смотрел он при этом вовсе не на Мак-Коннера. Цепким, неотрывным взглядом он впился в нашего спасителя. Как скаковая лошадь по уверенной посадке чувствует нового, более опытного жокея, так и он по последним ходам нашей партии распознал теперь своего истинного, своего настоящего противника. Невольно проследив за его взглядом, все мы с интересом воззрились на незнакомца. Однако, прежде чем тот успел опомниться, а уж тем паче ответить, распаленный азартом Мак-Коннер, обращаясь к нему, торжествующе вскричал:

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ветхий Завет, Числа, 22 (21-33). – Здесь и далее примеч. переводчика.

2

Фабий Максим Кунктатор, Квинт (ум. 203 г. до н. э.), римский полководец и государственный деятель, особо прославился победами над Ганнибалом, в войне против которого избрал тактику осторожного преследования, за что и снискал прозвище Кунктатор (Медлитель).

3

Галль, Франц-Йозеф (1758–1828) – немецкий врач и естествоиспытатель, занимавшийся изучением взаимосвязей между характером, способностями и наклонностями человека – и особенностями строения его черепа.

4

Это его работа (фр.).

Современное название словацкого курорта Пиштаны.

Купить: <https://tellnovel.com/stefan-cveyg/38992-dvadcat-chetyre-chasa-iz-zhizni-zhenschiny>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)